
Шило в мешке

Нет в русской литературе другого писателя, который вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, как герой этой книги. И при жизни, и после смерти. Как его только не гнали, как не обзывали, в чем не обвиняли, с кем уничижительно не сравнивали, от чего не отлучали. «Голый Розанов», «Обнаженный новременец», «Бесстыжее светило, или избличенный двурушник», «Гнилая душа», «Неопрятность», «Вместо демона — лакей», «В низах хамства», «Разложение литературы», «Позорная глубина», «Всеобщее презрение и всероссийский кукиш», «Опаснее врага», «Человек душевного мрака» — вот только несколько названий статей, которые были написаны в начале века, но кажутся прилетевшими из советского тридцать седьмого года. Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова «ничтожным, грязным и отвратительным человеком» и сравнивает его с «шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой», в которую жалко бросить чистым камнем. «Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная», — писал Семен Венгеров Алексею Ремизову. «Редкий талант отвратительнее его», — отзывался о Розанове юный Александр Блок. «Что может дать духовно этот одаренный и пронизательный писатель, который сам представлял собой какой-то безликий, аморфный студень?» — риторически вопрошал философ С. Н. Булгаков, ученик Розанова в гимназии Ельца.

Однако при этом никто и никогда из розановских недругов его талант сомнению не подвергал, и если продолжить, например, цитату из письма Венгерова, то и он признавал, что Розанов «писал почти — гениально». То же и

Мережковский: «Считаю нужным оговориться, что я считаю Розанова, несмотря на все его заблуждения, не только в России, но и всемирно гениальным писателем». Нечастый случай, когда литературное дарование не оспаривается, а личность подвергается строжайшему разбору. Вот уж точно соединение гения и злодейства, но при этом и гения, и злодейства весьма своеобразного. «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает», — вспоминал Андрей Белый, но и он Розанова ставил очень высоко.

Без этого человека не было бы в России Серебряного века, а если и был бы, то совсем другой, более пресный, гладкий, безопасный, полый и бесполой. Однако и Розанова невозможно представить в иную эпоху. Он стал ее эталоном, средоточием, тайным удом, не случайно о нем написано такое количество воспоминаний, научных исследований, статей и монографий. Его не перестают издавать, переводить, обсуждать, изучать, укорять, превозносить, ниспровергать, и когда читаешь эти эмоциональные публицистические либо сухие научные строки, странным образом ловишь себя на мысли, что все выступающие против. И которые за, и которые против. И те, кто обвиняет, и те, кто оправдывает. И те, для кого он бесформенный студень, и те, для кого — острый нож.

В. В. — как часто называли его современники — настолько широк, всеобъемлющ и безразмерен, что, говоря о нем, невозможно промахнуться. Однако и он стреляет по нам в ответ. «Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка... баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание, — написал Венедикт Ерофеев. — Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пуже святого Себастьяна»¹.

Уколы разной силы почувствовал, наверное, каждый из розановских читателей; даром, что ли, еще Пришвин заметил: Розанов как шило в мешке, его не утаишь. Хотя паразитическим образом советской власти это почти удалось, и Розанова большинство из нас прочитало лишь тогда, когда ее не стало². Во всяком случае, в первой половине восьмидесятых на лекциях по русской литературе студентам

филфака МГУ о нашем знаменитом выпускнике ничего не рассказывали. Или, может быть, я прогуливал либо невнимательно слушал...

Происхождение героя

Историей своего рода Василий Васильевич не интересовался, честно признаваясь, что «дальше деда у себя ничего не помнит, и деда знает лишь из отчества отца: Василий Федорович, значит Федор», а в «Опавших листьях» подводил под это генеалогическое безразличие своеобразную теоретическую базу: «У русских нет сознания своих предков... от этого наш нигилизм: “до нас ничего важного не было”». Это важное сделали за него исследователи много лет спустя, и если коротко суммировать их изыскания, картина получается такая.

Будущий писатель В. В. Розанов по линии отца происходил из священнического рода, а по линии матери — из обедневшего дворянского. При этом фамилия, о которой он так сокрушался (все, конечно, помнят дивный пассаж про булочника Розанова из «Опавших листьев»; правда, подозреваю, что сокрушался В. В. делано, на самом деле «нестественно-отвратительная» фамилия ему ужасно нравилась, как нравилось и все, что было связано с ним самим), не была родовой. Его деда по отцовской линии звали Федор Никитич Елизаров, был он сыном священника, внуком священника и сам служил священником в храме Рождества Богородицы в селе Матвееве Кологривского уезда Костромской губернии. Розановым стал родившийся в 1822 году его сын Василий, после того как отрока отдали в семинарию. Такая была у «колокольных дворян» традиция: менять фамилии своим отпрыскам, посылая их на учебу.

Что касается того, почему розановский дед избрал именно эту, прекрасную, звучную, литературную, то существует убедительное предположение костромской исследовательницы Ирины Халидовны Тлиф, что это было сделано в честь любимого семинарского преподавателя отца Феодора. «В Костромской духовной семинарии в начале XIX века служил учителем Василий Федорович Розанов — выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь

к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены — “от семинаристов не комедиантов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают”. Позже В. Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих “Розановых”, в том числе Ф. Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского учителя и первым Розановым в роду».

Отец нашего Розанова, стало быть, тоже Василий Федорович, окончил Костромскую семинарию в 1840 году, однако по духовной части не пошел, а поступил на службу в Костромскую палату государственных имуществ писцом второго разряда. Служил он, судя по всему, весьма усердно, и четыре года спустя его повысили и перевели в город Ветлугу, где предположительно он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Ивановной Шишкиной. Она была дочерью небогатого дворянина, который вышел в отставку, овдовел и проживал в Буйском уезде под надзором полиции как человек, «склонный к разным буйствующим поступкам», «частовременно занимающийся пьянством и в этом положении производящий разные предосудительные поступки». Среди прочих преступлений его также подозревали «в причинении насильственного блудодеяния», иначе говоря, изнасиловании. Таким образом, рассуждая о пресловутой противоречивости, двойственности нашего протагониста и соединении несоединимого в его личности и судьбе, можно предположить, что шло оно в том числе от разных натур двух его дедов — благородного левита, всю свою жизнь прослужившего в одном селе, избравшегося депутатом при одиннадцати церквях и награжденного набедренником, пользовавшегося огромной любовью и уважением у клира и мира («трезв, к должности рачителен, поведения честнаго, нравов кротких»³) и — буйного буйского помещика, замешанного в преступлениях на сексуальной почве. А если верно, что гены передаются через поколение, то знаменитое розановское «два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечная пререкание — моя жизнь» — возможно, тоже идет отсюда, о чем сам В. В., правда, не ведал, но недаром писал, что есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «неладно». Роза-

нов родился «неладно», и потому такая «странная, колючая, но довольно любопытная биография». Впрочем справедливости ради, в «Последних листьях» он сам себя опровергал: «Моя душа — вечное утверждение. “В мире со всеми”, “в ладу со всем”. Никогда еще такого “ладного” человека не рождалось». И никакого противоречия тут нет.

Мерзость запустения

Ветлужский период в жизни ладно-неладного младенца Василия был очень недолгим, но относительно благополучным. Во всяком случае, никакими иными свидетельствами на сей счет мы не располагаем, а более позднее розановское признание: «мы были страшно бедны, когда я родился, и я не забуду рассказа матери, что этот немудрящий доктор, помогший моему рождению, положил желтенькую бумажку, старый наш русский рубль, ей под подушку: уж не знаю, на пищу роженице или на лекарство, им прописанное» — кажется несколько преувеличенным. Все-таки глава семьи, чиновник не самого низшего звания, каким был энергичный Василий Федорович Розанов, пусть даже исключительно честный, не берущий взятку, вряд ли был беден до такой уж степени. Несчастье случилось зимой 1861-го, в канун выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Занимавший в ту пору должность помощника ветлужского окружного начальника и по совместительству заведующего Варнавинским лесничеством отец семейства заболел воспалением легких и скоропостижно скончался, оставив сиротами семерых детей и жену, беременную восьмым ребенком. Жития его было тридцать девять лет...

Розанов отца не помнил, но позднее называл его добрым, честным, простодушным, смелым человеком, а про мать писал, что при ее жизни не чувствовал и не любил ее. Тому были свои причины. После смерти мужа тридцатипятилетняя вдова с детьми переехала в Кострому. Там она купила небольшой дом на окраине города близ местной Сенной площади, где и прошло печальное Васино детство, о котором мы знаем опять же в основном с его слов. Полностью доверять этим словам сложно, не доверять — невозможно. Розанов называл свое детство страшным, больным, испуганным, замученным, опозоренным, страдальческим, а дом, в котором он вырос, — рухлядью, темным, мертвым и злым. А кроме того — бедность, бедность, бедность, «ни-

шета голая», такая, что иногда ели месяцами один печеный лук. Он вспоминал Кострому как город бесконечных дождей, писал, что над ним всегда были «у-у какие большие», а он был «страшно придавлен» и стал «слабым, бесконечно слабым». Своим детям, когда они шалили и не хотели есть, рассказывал о своем голодном детстве и, сделавшись известным писателем, больше всего гордился не своей известностью, не славой, а тем, что у него за столом собирается десять человек и он всех кормит.

Опять же, так ли все было беспроблемно в материальном отношении в его ранние годы, сказать трудно. Надежда Ивановна получала после смерти мужа пенсию 300 рублей в год, и это были совсем не маленькие по тем временам деньги. Еще сколько-то Розановы получали, сдавая второй этаж дома «нахлебникам» (так звали тогда постояльцев), плюс у семьи были свой большой огород и корова. В. В. оставил в одном из писем Эрику Голлербаху душераздирающее описание смерти этой коровы: «Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже “не из роду Шишкиных”. Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил — и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь — КОРМИЛА, и — ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о... Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все — молочко и молочко. Давала 4—5 горшков. Черненькая и словом “как мамаша”».

После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5—7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большого труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распоряжаться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.

Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший ком-

нату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».

«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старую — бессильную — несчастною любовью», — вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастье — все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война. Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее — все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезавшие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.

Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немыми, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому поприщу, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И — и — и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шутки)».

Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к малень-

кой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7—8—9—10—11, и *Его*-то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», — писал Розанов много лет спустя о Павлу Флоренскому.

Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7—8 лет) подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» — вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.

«Мамаша на нас совершенно остервенелась и стала для нас хуже чужой. Мы не имеем ни молока, ни куска хлеба, ни белья, ни чистой комнаты. Я живу в настоящее время на фабрике... Сергей ходит в худых штанах, которые никто не хочет ни починить, ни вымыть, и целый день грызёт горелую корку хлеба. Василий, когда уже выпал снег, долгое время ходил в гимназию в одной визитке...» — рассказывал в одном из писем той поры брат Розанова Федор.

Виктор Григорьевич Сукач, самый глубокий и проницательный из наших розановедов, недаром заметил: «Над детством Розанова хочется плакать». И это правда. Отроческие годы В. В., его взросление, возрастание, формирование мужского характера — все выпало на этот бесконечный период и было навсегда искалечено. Он попал под каток, под поезд, маленький, не очень сильный ни духом, ни телом ребенок, «задумчивый мальчик», «каких не было никогда», впечатлительный, все запоминающий, на все отзывающийся, ничего не пропускающий мимо себя и — уходящий в мечту.

«Еще в Костроме я, бывало, забирался на сеновал, сидел там на маленькую, устроенную мною качель и, раскачавшись, оставался с зажмуренными глазами и уносился мыслью далеко, далеко от той ужасной и маленькой дей-

ствительности, среди которой жил... одинокий и озябший мальчик, от всех отчужденный и ничего не любящий, кроме своего чудного и горячего мира, в котором жило мое воображение», — писал он своему гимназическому товарищу Барановскому в 1886 году, а еще позднее сформулировал свое понимание мечты как своего рода убежища, неприкосновенной территории, куда никому кроме него не было хода.

«Иное дело мечта, тут я не подвигался даже на скрупулы ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже в детстве». «Мне кажется такого “задумчивого мальчика” никогда не было. Я “вечно думал”, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

Этот побег в мечту Василия Розанова спас, и он единственный из розановского рода, не считая старшего Николая, студента Казанского университета, а впоследствии учителя и директора гимназии, уцелел и выбился в люди. По братьям и сестрам семейная история ударила еще сильнее.

Сестра Вера умерла в девятнадцать лет, брат Федор бросил учебу, бросил работу и стал странником, но не в религиозном смысле этого слова, а скорее бомжом. Сестра Павла была глубоко несчастна в замужестве. Брат Дмитрий попал в психбольницу (есть страшное письмо, где Розанов пишет о грубом обращении с братом, и невыносимое письмо самого Дмитрия с просьбой прислать ему хотя бы какие-нибудь обнобочки). Брат Сергей рассорился со всеми и с семьей не общался. Все пошло враздробь, как чеховским интеллигентам и не снилось.

«Тут всё мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это (...) Мы все были в ссоре (...) всё окончательно заледенело, заглодело, а главное, замусорилось. За всё время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чём-нибудь позаботился. Все “бродили”, а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь должно делать...» — писал Розанов в «Уединенном», а в письме Павлу Флоренскому прибавлял: «...как УЖАСНО мы жили в Костроме, Боже — какой это был нигилизм, какой это был холод вокруг, брат Федор (19 л.) пропивал деньги, данные “сходить в аптеку за лекарством”, сестра Павлуша (Бог ей простит) только неприличивовала с семинаристами (“богословие” и “философия” старые), и все было до того физически и духовно ГОЛО, ПУСТЫННО, что этого нельзя выразить, нельзя вспомнить без содрогания...»

Конечно, обвинять во всех бедах розановского дома одного Ивана Воскресенского едва ли справедливо, но факт есть факт: Розанову дважды пришлось пережить распад своей семьи — в детстве и в старости. Потом к этому прибавился распад государства, и по сути вся его жизнь стала подробной фиксацией, исследованием этой тотальной катастрофы и отчаянной, бессильной и в то же время отчасти лукавой попыткой сопротивления — и в личной жизни, и в общественной. И там, и там В. В. сокрушительно проиграл, но оставил поразительное по откровенности свидетельство этого поражения, начиная с самых детских лет.

Патологии

Невыносимая, нечеловеческая жизненная ситуация семьи усугубилась в связи с болезнью матери, когда мальчику исполнилось четырнадцать. «Милой Коля, ты не можешь вообразить, в каком положении или лучше сказать состоянии она находится, — писал Розанов брату Николаю в апреле 1870 года. — Ее болезнь и страдания нельзя ни словом сказать, ни пером описать; но уже когда нельзя всего сказать или вообразить не только в письме, но даже и лично, то мы хоть что-нибудь скажем про нее, бедную, тем более что это в моем законе, ибо я не люблю ни от чего отступаться до тех пор пока не кончу. Хотя бы это было и так трудно, что и сказать не можно. Мамаша теперь не встает с постели, и лежит-то она бедная на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на ее, то, я думаю, так бы и отступился назад, — одни те кости, да кожа, и я уже не знаю, наберется ли золотника $\frac{1}{2}$ крови и мяса вместе, — буквально, Коля, потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным. Но все-таки, Коля, к ее чести надо сказать, что она сделалась тиха, любит нас более, чем прежде, миролюбива и ни капли почти прежнего».

Много лет спустя в письмах Эрику Голлербаху, по своему характеру мемуарных, пронзительных и одновременно адресованных юному другу как материал для будущей биографии, Розанов писал о том, как ухаживал в детстве за больной матерью: «Теперь я Вам скажу кое-что Эдиповское. Моя мама, моя мамочка, моя дорогая и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие (нарисовано) складочки на ее животе.

Я еще не знал, что это остается “по одной после каждого родов”, а нас было 12 у нее. Затем: она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, “по тазу” (т. е. вероятно и мочею). “Верочка уже умерла”, когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор — брат был разбойник, Митя добрый и кроткий (“святой”) был полусумасшедшим — (сидел в психиатрич. больнице), а “здоровым” был слабоумным. Сереже — 3 года; а мне от 6 и до 9—10, 11 лет. Когда мама умерла, мне было лет 11 или даже 13 (1870 или 71 год). И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: “как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет”. Но — *никогда и не было.*

Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно — никакой никогда прислуги. Лечение же заключалось в том, что мешая “в пропорции” молоко с шалфеем — я должен был раза 3—4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) ручной спринцовкою (нарисована спринцовка), какою пульверизируют пыль. *Мистики половых органов мы совершенно не знаем.* Я делал это со скукой (“хочется поиграть”): но кто знает и испытал просто *зрительное впечатление*, вполне полное, отчетливое, абсолютное».

Это опять же к вопросу о розановских патологиях... Многим русским писателям досталось не очень простое детство, но *это* по ужасу, по страданию, по полной беспросветности, унижению и извращенности зашкаливает. Да, конечно, был Горький, которому Розанов не случайно писал: «А моя мамочка из могилы жмет Вам за сына руку: ах, какая она была бедная и измученная. Вот это целая история — и под перо бы Вам. Да и вся наша семья в Костроме — Ваш сюжет, с “лирикой”».

В горьковской автобиографической трилогии тоже можно найти немало горестных страниц, но их герой — победитель, он сильнее своих обстоятельств. Про Розанова так не скажешь. Он тоже вроде бы вырвался, добился успеха, но — покалеченный, изуродованный, больной, и эту свою рану не изжил, не излечил, а оставшись «вечным мальчиком» — так назовет он статью о самом себе, написанную к собственному 60-летию, — потащил в литературу, благо время, в которое ему выпало жить, тому располагало и всяческую темь, муть и жуть подхлестывало. Но все же самое важное в этом человеке «душевного мрака», как окрестили его современники, не пресловутые противоре-

чия, не порнография, не юдофобия, не христорборчество и не юродство, а — страдание и сострадание («С детства мне было страшно врожденно сострадание...»), находящееся поверх всего. Вот что он вынес из Костромы, никогда не забывал, и все тридцать томов его книжек этим страданием переполнены.

И этим, кстати, он оказался очень близок к писателю из недалекого по отношению к нему будущего — Андрею Платонову, который Розанова очень ценил и одновременно с ним яростно спорил, к нему тянулся и от него отталкивался, ему следовал и его отрицал. Это — отдельная и весьма интересная тема, однако что касается сюжета розановского детства, о котором Платонов знать во всех подробностях, разумеется, не мог, то в каком-то смысле А. П. предугадал, невольно выписал Васю Розанова в выполняющем женскую работу по дому мальчишке Семене из одноименного рассказа, да и вообще в своих «детях-старичках».

И еще одно очень важное семейное обстоятельство. Незадолго до смерти Надежды Ивановны ее родная сестра Александра писала своему племяннику Николаю, старшему брату Василия Васильевича и фактически — после смерти отца — главе семьи: «Милой Коля. Потому я так долго не отвечала на твое письмо, не находила случая, чем могла обрадовать тебя и в настоящее время нет для тебя утешительного — одно то, что его (то есть Воскресенского. — А. В.) нет в доме и комнаты приведены в прежнее положение. Пожалуйста будь настолько тверд в рассудке, не принимай так близко к сердцу, на все предел Божий; верно суждено испытать твоим братьям такую жисть и надеюсь на твое доброе сердце, так наверное простишь своей мамаша как тяжело больной своей матери; она ужасно боится за тебя. Ее одно желание дожидаться тебя, но теперь просит тебя — пришли ей карточку, как ты есть в настоящем виде, очень желает видеть карточку. Я прошу за нее, пришли, если можно в первую, отходящей почтой, и даже говорила ей, что ты непременно вышлешь карточку. Конечно живого назвать умершим нельзя, но для больных опасное время будет писать ей письмо. Не оскорбляй ее, надеюсь скоро приедешь, сам можешь поговорить лично обо всем, но письмом и карточкой обрадуй. Она, как ребенок, напиши пожалуйста, когда можно иметь надежду видеть тебя. Я жду тебя, как отца семейства. Желая тебе лучшего. Остаюсь многолюбящая тебя А. Шишкина. За все мои душевные страдания наверное исполнишь просьбу».

Судя по всему, Николай просьбу не исполнил, мамочку свою не простил, *оскорбил* ее, и для младшего брата, по которому на самом-то деле вся эта история ударила куда сильнее, эта жестокость ли, принципиальность, твердость, бессердечность — как угодно можно назвать — стала очень важным, может быть, самым важным на всю жизнь *уроком от противоположного*. Василий Розанов был совсем иной породы, сердечный, снисходительный, милосердный и всепрощающий, или, по-другому, «беспринципный» — в чем его так любили обвинять — человек, и все это пришло к нему опять же в детстве. Позднее в «Опавших листьях» он напишет слова, которые обыкновенно цитируют в государственном, историческом, патриотическом масштабе, вряд ли задумываясь об их буквальном, конкретном смысле. А между тем они очевидно уходят туда, вглубь, в Кострому: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее...»

Как не отходил от своей бедной матушки и сам Вася Розанов.

Три гимназии

Рано повзрослевшего и столкнувшегося в жизни с тем, с чем его сверстники обыкновенно не сталкиваются, отрока Василия отдали учиться лишь в двенадцать лет, хотя большинство детей поступали в гимназию, когда им исполнилось десять. Учился мальчик скверно, о чем честно писал старшему брату: «Милый Коля! Я не понимаю, как ты говоришь и на каком основании “учись лучше”. Ты ничего не знаешь, милый мой, потому, как мне кажется, так и говоришь. Я так думаю, ты забыл нашу жизнь, потому попытаюсь ее припомнить и описать ее тебе в письме. Ванька живет у нас и делает то, чего не бывало, — день ото дня становится хуже с нами; учиться мне нет никакой возможности, потому что учебных книг нет». И в другом письме: «Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины; во-первых, что у меня нет трех немецких книг... я совсем не понимаю латинского языка и математики, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома».

В Костромской гимназии он проучился два года, а после этого в 1870 году, сразу после смерти матери («От бедной моей мамы — ни креста, ни фотографической карточки. Только ее и помнит “Вася”, выносивший тазы с кровью»), старший брат взял опеку над младшими Василием и Сергеем и забрал их к себе в Симбирск. «Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не подбери меня старший брат Николай... Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом», — вспоминал Розанов позднее, хотя в «Последних листьях», опубликованных уже много лет спустя после смерти автора, есть и такая горькая запись: «Прежде всего я ненавидел брата Колю, который вытащил меня из Костромы, но имел неосторожность (в 3 кл. гимназии) подать мне 2 пальца и раз написал: «Ты все просишь денег (на карандаши и перья): но как ты *сам* учишься?»

Требовательный, по-прежнему не прощающий ошибок и заблуждений, Николай Васильевич работал учителем русской словесности в Симбирской классической мужской гимназии, куда и определил своего самолюбивого брата. В каком-то смысле по благу, потому что при норме в двести учащихся в гимназии училось четыреста, и все они сидели друг у друга на головах. Поскольку второй класс в Костроме окончить мальчику из-за болезни матери не удалось, ему пришлось повторить его в Симбирске, и, таким образом, отставание от сверстников сделалось еще на год больше.

Розановское отношение к отрочеству и ранней юности было сложнее, чем к костромскому детству. «С ничего я пришел в Симбирск... вышел из него со всем». Это — благодарное свидетельство более поздних лет, но в ту пору в письме товарищу по гимназии В. Ф. Баудеру Розанов писал: «Ты далеко не знаешь всей тяжести моей жизни в Симбирске. Те два года, которые я прожил там, я никогда не забуду; они наложили свой отпечаток на мой характер, совершенно исковеркав его».

И все же с точки судьбы Розанова эта гимназия («В этой подлой Симбирской гимназии совершилось мое взросление и становление») особенно важна. Он мог переехать в любой город Российской империи и учиться в любой другой гимназии, но учился именно в этой, чьей гордостью и позором несколько лет спустя станут два родных брата, два золотых медалиста. Первый будет государством в 1887 году казнен, второй казнит ровно через тридцать лет само это государство. Однако за десять лет до русской катастрофы, когда Розанов вспоминал гимназические годы, он, скорее

всего, об Ульяновых не думал, но сделал одно чрезвычайно важное наблюдение: «Готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделяли Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, исполнительных и аккуратных, а увидели бурю и молнии».

И одна из причин тому — насильственный, казенный патриотизм и монархизм, которые вбивали детям и в головы, и в души, заставляя их каждую субботу петь перед портретом государя «Боже, Царя храни!»: «Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства... Все мы знали, что это Кильдюшевскому нужно, чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслуживания. И, конечно, мы “пели”, но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: “пели” — а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм. Я помню, что именно Симбирск был родиной моего нигилизма...»

Монархист Розанов, а он, несомненно, был монархистом, да еще каким!⁴ — вынес приговор русской монархии и в этом диагнозе удивительным образом совпал с человеком совершенно иной судьбы и прямо противоположных взглядов. «Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае». Это слова Александра Ильича Ульянова на суде за несостоявшееся покушение на Александра Третьего. Он ненамного разминулся с Розановым по времени учебы, но у них были одни учителя, одни требования и принципы школьного воспитания, и они оба насильно пели по субботам гимн перед портретом монарха. Не будет большой натяжкой предположить, что пятнадцатилетний Василий мог испытывать в отрочестве не просто «смутное чувство недовольства общим строем», но полное его неприятие, да и оснований разрушить весь мир насилья у него было гораздо больше, нежели у Саши Ульянова с его милым, добрым детством в любящей семье. Но в революцию, как многие его современники, Розанов не пошел. Что-то остановило. Хотя читал Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, хотя отшатнулся от Церкви и был, по собственному признанию, «социалистишкой». Однако потом, когда Россию захлестнет новая волна террора, какая и не снилась народовольцам, эта

тема станет в его сочинениях ключевой, интерес к русской революции будет очень жадным, личным, пристрастным, а учеба в гимназии не случайно будет прочно ассоциироваться в его сознании с революцией, и в предисловии к книге «Когда начальство ушло» В. В. напишет: «Какая наступала восхитительная минута, когда, бывало, надзиратель отойдет от стеклянной двери нашего класса (“пошел к другим классам”), а учитель еще в нее не вошел... Электричество, что-то лучше и быстрее электричества, пробегало по нашим спинам и плечам; и “Алгебра Давидова” летит через две парты и попадает туда, куда ей нужно — в затылок склонившегося над Кюнером толстого и ленивого ученика. Он вздрогнул, размахнулся и, может быть, ударил бы ни в чем неповинного соседа: но “несправедливость” предупреждена тем, что кто-то схватил его за волосы и пригнул к задней парте... Теперь он парализован, бессилён и вращает глазами, как Патрокл, поверженный Гектором. В другом углу борются “врукопашную”, — по возможности без шума; летят стрелы в потолок, с мокрой массой на конце их, чтобы повиснуть там; кафедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стул посыпается мелом... Кто-то “учит слова”, если его сейчас спросят: но благоразумнейшие припиливают “слова” к спине товарища, впереди сидящего, дабы “провести за нос” учителя, всепонятно “болвана”, и ответить урок на “3 —”, зная его на “1 + b”...

Счастливые минуты: их одни я помню из поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута “без начальства”, когда мы оставались одни... Она была коротка и гениальна».

Это восхитительное мятежное чувство подарила ему именно русская гимназия...

В Симбирске Розанов прожил два года и впоследствии вспоминал с благодарностью улицы, набережные, разливы Волги, Венец, речку Свягу и Карамзинскую библиотеку, где много читал и занимался самообразованием. В 1872 году переехал в Нижний Новгород, куда годом ранее отправился служить его старший брат, и Нижегородская гимназия стала в жизни В. В. третьей. В ней он проучился целых шесть лет, еще раз оставшись на второй год в седьмом классе, и отзывался о ней также не очень хорошо: «Гимназия была отвратительна... Кончил я “едва-едва”, — атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги»».

А уже упоминавшемуся Василию Баудеру летом 1876 года писал: «Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больший, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии, и особенно христианской. Было время, когда я увлекался года полтора назад различными учениями коммунистов и социалистов, но теперь после более серьезного размышления я нашел недостатки в тех и других и составил о государстве свое собственное понятие».

Впрочем, финал гимназической истории был хорошим. «Мы, человек 9 окончивших Нижегородскую гимназию, купили рублей на 10 вин и закусок (а все были беднота) и, отправившись в лесок, на берегу Оки, во-первых, выпили это вино, съели закуски, а во-вторых, и главным образом сожгли почти все учебники».

Розановские воспоминания о Нижнем — самые нежные из всех детских и юношеских, да и позднее именно юность он называл самым светлым периодом своей жизни. Тут не только в книгах, прочитанных или выброшенных, было дело. Гимназическая дружба, разговоры, выпивка, дух свободы и пение «Марсельезы», но главное — с подростком случилось что-то вроде гётевского «суха, моя друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет». В жизнь маленького книжника («Я жадно (безумно), читал в гимназии») приходит любовь, о которой он с удовольствием вспоминал в примечаниях к «Опавшим листьям».

«Леля Остафьева, 24 лет, первая, чистейшая любовь».

«Вторая любовь — Юлия Каминская... Ну что вам за дело, что она была некрасива. Для меня она была красива. Моя милая Юля... Это был прекраснейший роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII кл. гимназии. Мы чудно читали с ней Монтескье, Бентама и немного шалили. Разумеется — в постели, лежа на спине. Потом закрывали книжки, я повертывался к ней, и мы играли. Она была чистейшая девушка 19 л., мне было 18».

А в «Мимолетном» 1914 года появится запись, основанная не иначе как на личном опыте:

«...усиливался. Вспотел. И ничего не вышло. В первый раз.

На меня поднялись любящие глаза.

— Ну ничего, милый. Не смущайся. И Рим не в один день был построен.

Я б. поражен. Никогда не слышал *такой* исторической поговорки (очевидно, и в такой момент услышать)... Пре-

краснее по кротости и прощению русской девушки никого нет (*действительность*)».

О какой именно кроткой девушке идет речь, неизвестно, но известно, что следующая — какая угодно, но только не кроткая — продырявила глаза булавкой на фотокарточках первым двум. Но при этом все три были его взрослее, и самая старшая сделалась его женой⁵.

Женился на Достоевском?

История с Аполлинаруей Суловой — а это именно она приревновала Розанова к его прежним пассиям, — безусловно, одна из самых ярких и драматичных страниц в биографии нашего героя, и на ней есть смысл остановиться подробнее, тем более что фантазии и спекуляции с обвинительным уклоном на эту тему продолжают по сей день и, видимо, не закончатся никогда.

Определить точную дату знакомства Василия Васильевича с Аполлинаруей Прокофьевной довольно сложно. Иногда цитируют письмо гимназического товарища Розанова Константина Кудрявцева от 17 августа 1876 года: «Разве quasi-вдовушка уехала из Нижнего? Или твоя симпатичная amante изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе “копошашимися” червяками, и собственное твое “я” чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем?»

Розанов, сам публикуя это письмо во втором коробе «Опавших листьев», снабжает слово amante примечанием «Должно быть — роман с Юльей (см. “Уед.”) — учительницей музыки». Что касается квази-вдовушки, то никаких авторских комментариев не последовало, однако большинство исследователей предполагают, что речь идет именно об Аполлинаруе. Так это или нет, сказать трудно. В дневнике Розанов называет год знакомства с Аполлинаруей Суловой — 1878-й, в письме Н. Н. Глубоковскому утверждает, что «ей было 38 лет, когда я с нею встретился в 8-м классе гимназии». В любом случае они совершенно точно познакомились в Нижнем Новгороде, ему было двадцать или чуть больше, она — на шестнадцать лет старше. За плечами у нее сумасшедшая, жадная молодость, искания, метания, знакомство с великими людьми (не только с Достоевским, тут и Герцен, и Огарев, и Бакунин), любовь, измена, литературная деятельность, публикации, интерес к острым общественным вопросам, например, к подавлению Польско-

го восстания, несколько написанных и опубликованных повестей и переводов, заграничные путешествия, романы, расставания, разрывы и новые романы — в общем, жизнь... Однако замуж девица Сулова так и не вышла, а писать и переводить бросила. В 1868 году сдала экзамен на звание домашней учительницы, после чего открыла школу-пансион для приходящих девиц в Иваново-Вознесенске, но вмешалась полиция, на Аполлинарую состряпали донос: человек неблагонадежный, замешана в сношениях с эмигрантами, носит синие очки, волосы подстрижены, «в своих суждениях слишком свободна и не посещает церковь», и школу через три месяца, к большому огорчению местных жителей, закрыли.

В 1872 году тридцатитрехлетняя Сулова стала слушательницей Высших женских курсов при Московском университете. По воспоминаниям более молодых сокурсниц, держалась она довольно обособленно, сосредоточенно, серьезно и строго, к учительству больше не возвращалась и жила преимущественно в родительском доме. Когда отец давал деньги, путешествовала, хотя, как признавалась Аполлинаруя в одном из писем, Прокофий Григорьевич был ею недоволен. Надо полагать, осуждал чересчур вольный образ жизни дочери, а еще больше переживал из-за того, что Поля засиделась в девках. А она увлеклась средневековой историей, преимущественно испанской, в память о своей единственной настоящей любви к испанскому юноше Сальвадору, ради которого изменила Достоевскому, ходила по гостям, переписывалась с давней, еще с Парижа знакомой — популярной писательницей Евгенией Тур (она же графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, сестра драматурга, знакомая Лескова и Тургенева, и письма этой замечательной женщины, впервые полностью опубликованные Л. И. Сараскиной в книге «Возлюбленная Достоевского» — важнейшее альтернативное свидетельство всей этой истории), выглядела чудесно и, судя по всему, без труда вскружила голову великовозрастному гимназисту, который позднее назовет ее «опытной кокеткой», раскольницей поморского согласия, хлыстовской богородицей и «Каткой» Медичи.

В провинциальном нижегородском мире, по контрасту с учительской средой, где бывал Розанов благодаря брату, эта легендарная женщина действительно производила впечатление настолько необычной, экзотичной, ни на кого не похожей, что могла показаться впечатлительному юноше

сбывшеюся мечтою, перед которой померкли все прежние идеалы. Во всяком случае, как полагает В. Г. Сукач, «роман с Каменской расстроился, и, видимо, расстроился из-за увлечения Розанова Суловой, соперничество с которой было не под силу Каменской».

Уже стало общим местом считать, что розановский интерес к Аполлинарии Прокофьевне объяснялся исключительно или главным образом тем обстоятельством, что в молодости она была возлюбленной Достоевского, и будущий «философ пола» мистическим образом соединился с любимым писателем, чуть ли не «женился» на нем.

«Самая мысль, что он будет спать с той самой женщиной, с которой когда-то спал Достоевский, приводила его в мистически-чувственный восторг», — писал писатель-эмигрант Марк Слоним в книге «Три любви Достоевского».

«В этом, бесспорно, эксцентрическом жесте можно увидеть попытку приобщиться к бурным отношениям писателя и его юной любовницы — нигилистки», — утверждает американская славистка Ольга Матич.

«Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол “возлюбленной Достоевского”, писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся», — предположил российский розановед А. Л. Налепин.

«Розанову необходимо было видеть в Достоевском человеческое, природное, мужское, а почувствовать это можно было лишь через женщину, через физическую с нею близость. “Суслиха”, эта феминистка, в духовном отношении являвшая собой полную противоположность Василия Васильевича, давала Розанову радость общения с Достоевским, она, со своим нигилистским сознанием, невольно связывала (*через свое тело*) двух гениев русской “консервативной революции”», — сделал глубокомысленный вывод другой современный автор, Александр Беззубцев-Кондаков.

«Известно, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Он настолько увлекся его творчеством и его личностью, что в 1880 году (то есть еще при жизни Федора Михайловича) 24-летним молодым человеком женился на стареющей Аполлинарии Суловой (что, конечно, было более, чем экстравагантно)», — написал Дмитрий Евгеньевич Галковский, которого самого иногда называют Розановым конца XX века.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru